

Б И Б Л И О Т Е К А

„ОГОНЁК“

И. С. ТУРГЕНЕВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ



ИЗДАТЕЛЬСТВО

„ПРАВДА“

1949

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
Накануне	3
Отцы и дети	129
Примечания	291

Б И Б Л И О Т Е К

„ОГОНЕК“

И. С. ТУРГЕНЕВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

П О Д Р Е Д А К Ц И Е Й

Н. Л. БРОДСКОГО, И. А. НОВИКОВА, А. А. СУРКОВА

Т О М

3

ИЗДАТЕЛЬСТВО „ПРАВДА“

Москва. 1949

НАКАНУНЕ

I

В тени высокой липы, на берегу Москвы-реки, недалеко от Кунцова, в один из самых жарких летних дней 1853 года, лежали на траве два молодых человека. Один, на вид лет двадцати трех, высокого роста, черномазый, с острым и немного кривым носом, высоким лбом и сдержанною улыбкой на широких губах, лежал на спине и задумчиво глядел вдаль, слегка прищурив свои небольшие серые глазки; другой лежал на груди, подперев обеими руками кудрявую белокурую голову, и тоже глядел куда-то вдаль. Он был тремя годами старше своего товарища, но казался гораздо моложе; усы его едва пробились, и на подбородке вился легкий пух. Было что-то детски-миловидное, что-то привлекательно-изящное в мелких чертах его свежего, круглого лица, в его сладких, карих глазах, красивых, выпуклых губах и белых ручках. Все в нем дышало счастливою веселостью здоровья, дышало молодостью — беспечностью, самонадеянностью, избалованностью, прелестью молодости. Он и поводил глазами, и улыбался, и подпирал голову, как это делают мальчики, которые знают, что на них охотно заглядываются. На нем было просторное белое пальто вроде блузы; голубой платок охватывал его тонкую шею, измятая соломенная шляпа валялась в траве возле него.

В сравнении с ним его товарищ казался стариком, и никто бы не подумал, глядя на его угловатую фигуру, что и он наслаждается, что и ему хорошо. Он лежал неловко; его большая, кверху широкая, книзу заостренная голова неловко сидела на длинной шее; неловкость сказывалась в самом положении его рук, его туловища, плотно охваченного коротким черным сюртуком, его длинных ног с поднятыми коленями, подобных задним ножкам стрекозы. Со всем тем нельзя было не признать в нем хорошо воспитанного человека; отпечаток «порядочности» замечался во всем его неуклюжем существе, и лицо его, некрасивое и даже несколько смешное, выражало привычку мыслить и доброте. Звали его Андреем Петровичем Берсенывым; его товарищ, белокурый молодой человек, прозывался Шубиным, Павлом Яковлевичем.

— Отчего ты не лежишь, как я, на груди? — начал Шубин. — Так гораздо лучше. Особенно когда поднимешь ноги и стучишь каблуками друг о дружку — вот так. Трава под носом: надоест глазеть на пейзаж, смотри на какую-нибудь пузатую козявку, как она ползет по былинке, или на муравья, как он суетится. Право — так лучше. А то ты принял теперь какую-то псевдо-классическую позу — ни дать, ни взять, танцовщица в балете, когда она облакачивается на картонный утес. Ты вспомни, что ты теперь имеешь полное право отдыхать... Шутка сказать: вышел третьим кандидатом! Отдохните, сэр; перестаньте напрягаться, раскиньте свои члены.

Шубин произнес всю эту речь в нос, полулениво, полушутливо (балованные дети говорят так с друзьями дома, которые привозят им конфеты), и, не дождавшись ответа, продолжал:

— Меня больше всего поражает в муравьях, жуках и других господах насекомых их удивительная серьезность: бегают взад и вперед с такими важными физиономиями, точно и их жизнь что-то значит! Помилуйте, человек — царь создания, существо высшее, на них взирает — а им и дела до него нет: еще, пожалуй, иной комар сядет на нос царю создания и станет употреблять его себе в пищу. Это обидно. А с другой стороны — чем их жизнь хуже нашей жизни? И отчего же им не важничать, если мы позволяем себе важничать? Ну-ка, философ, разреши мне эту задачу! Что ж ты молчишь? А?

— Что... — проговорил, встрепенувшись, Берсенеv.

— Что! — повторил Шубин. — Твой друг излагает перед тобою глубокие мысли, а ты его не слушаешь.

— Я любовался видом. Посмотри, как эти поля горячо блестят на солнце! (Берсенеv немного пришепётывал.)

— Важный пущен ко́лер, — промолвил Шубин. — Одно слово, натура!

Берсенеv покачал головой.

— Тебе бы еще больше меня следовало восхищаться всем этим. Это по твоей части: ты артист.

— Нет-с, это не по моей части-с, — возразил Шубин и надел шляпу на затылок. — Я мясник-с; мое дело — мясо, мясо лепить, плечи, ноги, руки, а тут и формы нет, законченности нет — разъехалось во все стороны... Поди, поймай!

— Да ведь и тут красота, — заметил Берсенеv. — Кстати, кончил ты свой барельеф?

— Какой?

— Ребенка с козлом.

— К чорту! к чорту! к чорту! — воскликнул нараспев Шубин. — Посмотрел на настоящих, на стариков, на антики, да и разбил свою чепуху. Ты указываешь мне на природу и говоришь: «И тут красота». Конечно, во всем красота, даже и в твоем носе красота, да за всякою красотой не угоняешься.

Старики — те за ней и не гонялись; она сама сходила в их создания, откуда бог весть — с неба, что ли. Им весь мир принадлежал; нам так широко распространяться не приходится: коротки руки. Мы закидываем удочку на одной то-чечке — да и караулим. Клонет, bravo! а не клонет...

Шубин высунул язык.

— Постой, постой, — возразил Берсенеv. — Это парадокс. Если ты не будешь сочувствовать красоте, любить ее всюду, где бы ты ее ни встретил, так она тебе и в твоём искусстве не дастся. Если прекрасный вид, прекрасная музыка ничего не говорят твоей душе, я хочу сказать, если ты им не со-чувствуешь...

— Эх, ты, сочувственник! — брякнул Шубин и сам за-смеялся новоизобретенному слову, а Берсенеv задумался. — Нет, брат, — продолжал Шубин: — ты умница-философ, тре-тий кандидат Московского университета, с тобой спорить страшно, особенно мне, недоучившемуся студенту, но я тебе вот что скажу: кроме своего искусства, я люблю красоту только в женщинах... в девушках, да и то с некоторых пор...

Он перевернулся на спину и заложил руки за голову.

Несколько мгновений прошло в молчании. Тишина полу-денного зноя тяготела над сияющей и заснувшей землею.

— Кстати, о женщинах, — заговорил опять Шубин. — Чтó это никто не возьмет Стахова в руки? Ты видел его в Москве?

— Нет.

— Совсем с ума сошел старец. Сидит по целым дням у своей Августины Христиановны, скучает страшно, а сидит. Глазют друг на друга, так глупо... Даж противно смотреть. Вот поди ты! Каким семейством бог благословил этого че-ловека — нет, подавай ему Августину Христиановну! Я ни-чего не знаю гнуснее ее утиной физиономии! На-днях я вы-лепил ее карикатуру, в дантановском вкусе — очень вышло недурно. Я тебе покажу.

— А Елены Николаевны бюст, — спросил Берсенеv: — подвигается?

— Нет, брат, не подвигается. От этого лица можно в ст-чаяние придти. Посмотришь: линии чистые, строгие, прямые; кажется, не трудно схватить сходство. Не тут-то было... Не дается, как клад в руки. Заметил ты, как она слушает? Ни одна черта не тронется — только выражение взгляда бес-престанно меняется, а от него меняется вся фигура. Чтó тут прикажешь делать скульптору, да еще плохому? Удивитель-ное существо... странное существо, — прибавил он после ко-роткого молчанья.

— Да; она удивительная девушка, — повторил за ним Берсенеv.

— А дочь Николая Артемьевича Стахова! Вот после этого и рассуждай о крови, о породе. И ведь забавно то, что она точно его дочь, похожа на него и на мать похожа, на Анну Васильевну. Я Анну Васильевну уважаю от всего сердца — она же моя благодетельница; но ведь она курица... Откуда же взялась душа у Елены? Кто зажег этот огонь? Вот опять тебе задача, философ!

Но «философ» попрежнему ничего не отвечал. Берсенеv, вообще, не грешил многоглаголением, и когда говорил, выражался неловко, с запинками, без нужды разводя руками; а в этот раз какая-то особенная тишина нашла на его душу, тишина, похожая на усталость и на грусть. Он недавно переселился за город после долгой и трудной работы, отнимавшей у него по несколько часов в день. Бездействие, негa и чистота воздуха, сознание достигнутой цели, прихотливый и небрежный разговор с приятелем, внезапно вызванный образ милого существа, все эти разнородные и в то же время почему-то сходные впечатления слились в нем в одно общее чувство, которое и успокаивало его, и волновало, и обессиливало... Он был очень нервический молодой человек.

Под липой было прохладно и спокойно; залетавшие в круг ее тени мухи и пчелы, казалось, жужжали тише; чистая мелкая трава изумрудного цвета, без золотых отливов, не колыхалась; высокие стебельки стояли неподвижно, как очарованные; как мертвые, висели маленькие гроздьи желтых цветов на нижних ветках липы. Сладкий запах с каждым дыханием втеснялся в самую глубь груди, но грудь им охотно дышала. Вдали, за рекой, до небосклона все сверкало, все горело; изредка пробегал там ветерок, и дробил, и усиливал сверканье; лучистый пар колебался над землей. Птиц не было слышно: они не поют в часы зноя; но кузнечики трещали повсеместно, и приятно было слушать этот горячий звук жизни, сидя в прохладе, на покое: он клонил ко сну и будил мечтания.

— Заметил ли ты, — начал вдруг Берсенеv, помогая своей речи движениями рук: — какое странное чувство возбуждает в нас природа? Все в ней так полно, так ясно, я хочу сказать, так удовлетворено собою, и мы это понимаем и любимся этим, и в то же время она, по крайней мере во мне, всегда возбуждает какое-то беспокойство, какую-то тревогу, даже грусть. Что это значит? Сильнее ли сознаем мы перед нею, перед ее лицом, всю нашу неполноту, нашу неясность, или же нам мало того удовлетворения, каким она довольствуется, а другого, то есть я хочу сказать, того, чего нам нужно, у нее нет.

— Гм, — возразил Шубин: — я тебе скажу, Андрей Петрович, отчего все это происходит. Ты описал ощущения одинокого человека, который не живет, а только смотрит, да

млеет. Чего смотреть? Живи сам и будешь молодцом. Сколько ты ни стучись природе в дверь, не отзовется она понятным словом, потому что она немая. Будет звучать и ныть, как струна, а песни от нее не жди. Живая душа — та отзовется, и по преимуществу женская душа. А потому, благородный друг мой, советую тебе запастись подругой сердца, и все твои тоскливые ощущения тотчас исчезнут. Вот что нам «нужно», как ты говоришь. Ведь эта тревога, эта грусть, ведь это, просто, своего рода голод. Дай желудку настоящую пищу, и все тотчас придет в порядок. Займи свое место в пространстве, будь телом, братец ты мой. Да и что такое, к чему «природа»? Ты послушай сам: любовь! какое сильное, горячее слово! Природа... какое холодное, школьное выражение! А потому (Шубин запел): «Да здравствует Марья Петровна!» или нет, — прибавил он: — не Марья Петровна, ну да все равно! Вы же компрене ¹.

Берсенева приподнялся и оперся подбородком на сложенные руки.

— Зачем насмешка, — проговорил он, не глядя на своего товарища: — зачем глумление? Да, ты прав; любовь великое слово, великое чувство... Но о какой любви говоришь ты?

Шубин тоже приподнялся.

— О какой любви? О какой угодно, лишь бы она была налицо. Признаюсь тебе, по-моему, вовсе нет различных родов любви. Коли ты полюбил...

— От всей души, — подхватил Берсенева.

— Ну да, это само собою разумеется: душа не яблоко: ее не разделишь. Коли ты полюбил, ты и прав. А я не думал глумиться. У меня на сердце теперь такая нежность, так оно смягчено... Я хотел только объяснить, почему природа, по-моему, так на нас действует. Потому что она будит в нас потребность любви, и не в силах удовлетворить ее. Она нас тихо гонит в другие живые объятия, а мы ее не понимаем и чего-то ждем от нее самой. Ах, Андрей, Андрей, прекрасно это солнце, это небо — все, все вокруг нас прекрасно, а ты грустишь; но если б в это мгновение ты держал в своей руке руку любимой женщины, если б эта рука и вся эта женщина были твои, если б ты даже глядел *ее* глазами, чувствовал не своим, одиноким, а *ее* чувством — не грусть, Андрей, не тревогу возбуждала бы в тебе природа, и не стал бы ты замечать ее красоты; она бы сама радовалась и пела, она бы вторила твоему гимну, потому что ты в нее, в немую, вложил бы тогда язык!

Шубин вскочил на ноги и прошелся раза два взад и вперед, а Берсенева наклонил голову, и лицо его покрылось слабой краской.

¹ [Вы меня понимаете.]

— Я не совсем согласен с тобою, — начал он. — Не всегда природа намекает нам на... на любовь. (Он не сразу произнес это слово.) Она также грозит нам: она напоминает о страшных... да, о недоступных тайнах. Не она ли должна поглотить нас, не беспрестанно ли она поглощает нас? В ней и Жизнь и Смерть — и Смерть в ней так же громко говорит, как и Жизнь.

— И в любви Жизнь и Смерть, — перебил Шубин.

— А потом, — продолжал Берсенеv: — когда я, например, стою весной в лесу, в зеленой роще, когда мне чудятся романтические звуки Оберонова рога (Берсенеvу стало немножко совестно, когда он выговаривал эти слова), — разве и это...

— Жажда любви, жажда счастья, больше ничего! — подхватил Шубин. — Знаю и я эти звуки, знаю и я то умиление и ожидание, которые находят на душу под сенью леса, в его недрах, или вечером, в открытых полях, когда заходит солнце и река дымит за кустами. Но и от леса, и от реки, и от земли, и от неба, от всякого облачка, от всякой травки я жду, я хочу счастья, я во всем чую его приближение, слышу его призыв! «Мой бог — бог светлый и веселый!» Я, было, так начал одно стихотворение; сознайся: славный первый стих, да второго никак подобрать не мог. Счастья! счастья! пока жизнь не прошла, пока все наши члены в нашей власти, пока мы идем не под гору, а в гору! Чорт возьми! — продолжал Шубин с внезапным порывом: — мы молоды, не уроды, не глупы; мы завоюем себе счастье!

Он встряхнул кудрями и самоуверенно, почти с вызовом, глянул вверх, на небо. Берсенеv поднял на него глаза.

— Будто нет ничего выше счастья? — проговорил он тихо.

— А например? — спросил Шубин и остановился.

— Да вот, например, мы с тобою, как ты говоришь, молоды, мы хорошие люди, положим; каждый из нас желает для себя счастья... Но такое ли это слово: «счастье», которое соединило, воспламенило бы нас обоих, заставило бы нас подать друг другу руки? Не эгоистическое ли, я хочу сказать, не разъединяющее ли это слово?

— А ты знаешь такие слова, которые соединяют?

— Да; и их не мало; и ты их знаешь.

— Ну-ка, какие это слова?

— Да хоть бы искусство, — так как ты художник, — родина, наука, свобода, справедливость.

— А любовь? — спросил Шубин.

— И любовь — соединяющее слово; но не та любовь, которой ты теперь жаждешь: не любовь-наслаждение, — любовь-жертва.

Шубин нахмурился.

— Это хорошо для немцев; а я хочу любить для себя; я хочу быть номером первым.

— Номером первым, — повторил Берсенеv. — А мне кажется, поставить себя номером вторым — все назначение нашей жизни.

— Если все так будут поступать, как ты советуешь, — промолвил с жалобною гримасой Шубин: — никто на земле не будет есть ананасов: все другим их предоставлять будут.

— Значит, ананасы не нужны; а впрочем, не бойся — всегда найдутся любители даже хлеб от чужого рта отымать.

Оба приятеля помолчали.

— Я на-днях опять встретил Инсарова, — начал Берсенеv: — я пригласил его к себе, я непременно хочу его познакомиться с тобой... и с Стаховыми.

— Какой это Инсаров? Ах да, этот серб или болгар, о котором ты мне говорил? Патриот этот? Уж не он ли внушил тебе все эти философические мысли?

— Может быть.

— Необыкновенный он индивидуум, что ли?

— Да.

— Умный? Даровитый?

— Умный?.. да. Даровитый? не знаю, не думаю.

— Нет? Что же в нем замечательного?

— Вот увидишь. А теперь, я думаю, нам пора итти. Анна Васильевна нас, чай, дожидается. Который-то час?

— Третий. Пойдем. Как душно! Этот разговор во мне всю кровь зажег. И у тебя была минута... я не даром артист: я на все заметлив. Признайся, занимает тебя женщина?..

Шубин хотел взглянуть в лицо Берсенеvu, но он отвернулся и вышел из-под липы. Шубин отправился вслед за ним, развалисто-грациозно переступая своими маленькими ножками. Берсенеv двигался неуклюже, высоко поднимал на ходу плечи, вытягивал шею: а все-таки он казался более «порядочным» человеком, чем Шубин, более джентльменом, сказали бы мы, если б это слово не было у нас так опошлено.

II

Молодые люди спустились к Москве-реке и пошли вдоль ее берега. От воды веяло свежестью, и тихий плеск небольших волн ласкал слух.

— Я бы опять выкупался, — заговорил Шубин: — да боюсь опоздать. Посмотри на реку: она словно нас манит. Древние греки в ней признали бы нимфу. Но мы не греки о, нимфа! мы — толстокожие скифы.

— У нас есть русалки, — заметил Берсенов.

— Поди ты с своими русалками! На что мне, ваятелю, эти исчадия запуганной холодной фантазии! эти образы, рожденные в духоте избы, во мраке зимних ночей? Мне нужно света, простора... Когда же, боже мой, поеду я в Италию? Когда...

— То есть, ты хочешь сказать, в Малороссию?

— Стыдно тебе, Андрей Петрович, упрекать меня в необдуманной глупости, в которой я и без того горько раскаиваюсь. Ну да, я поступил как дурак: добрейшая Анна Васильевна дала мне денег на поездку в Италию, а я отправился к хохлам, есть галушки, и...

— Не договаривай, пожалуйста, — перебил Берсенов.

— И все-таки я скажу, что эти деньги не были истрачены даром. Я увидел там такие типы, особенно женские... Конечно, я знаю: вне Италии нет спасения!

— Ты поедешь в Италию, — проговорил Берсенов, не оборачиваясь к нему: — и ничего не сделаешь! Будешь все только крыльями размахивать и не полетишь... Знаем мы вас!

— Ставассер полетел же... И не он один. А не полечу, — значит, я пингвин морской, без крыльев. Мне душно здесь, в Италию хочу, — продолжал Шубин: — там солнце, там красота...

Молодая девушка в широкой соломенной шляпе, с розовым зонтиком на плече показалась в это мгновение на тропинке, по которой шли приятели.

— Но что я вижу? И здесь к нам навстречу идет красота. Привет смиренного художника очаровательной Зое! — крикнул вдруг Шубин, театрально размахнув шляпой.

Молодая девушка, к которой относилось это восклицание, остановилась, погрозила ему пальцем и, допустив до себя обоих приятелей, проговорила звонким голосом и чуть-чуть картавя:

— Что же вы это, господа, обедать не идете? Стол накрыт.

— Что я слышу? — заговорил, всплеснув руками, Шубин — Неужели вы, восхитительная Зоя, в такую жару решились итти нас отыскивать? Так ли я должен понять смысл вашей речи? Скажите, неужели? Или нет, лучше не производите этого слова: раскаяние убьет меня мгновенно.

— Ах, перестаньте, Павел Яковлевич, — возразила, не без досады, девушка: — отчего вы никогда не говорите со мной серьезно? Я рассержусь, — прибавила она с кокетливой ужимкой и надула губки.

— Вы не рассердитесь на меня, идеальная Зоя Никитишна; вы не захотите повергнуть меня в мрачную бездну ис-

ступленного отчаяния. А серьезно я говорить не умею, потому что я не серьезный человек.

Девушка пожалала плечом и обратилась к Берсеневу.

— Вот он всегда так: обходится со мной, как с ребенком, а мне уж 18 лет минуло. Я уже большая.

— О, боже! — простонал Шубин и закатил глаза под лоб, а Берсенев усмехнулся молча.

Девушка топнула ножкой.

— Павел Яковлевич! Я рассержусь... Hélène пошла было со мною, — продолжала она: — да осталась в саду. Ее жара испугала, но я не боюсь жары. Пойдемте.

И она отправилась вперед по тропинке, слегка раскачивая свой тонкий стан при каждом шаге и откидывая хорошенькою ручкой, одетой в черную митенку, мягкие, длинные локоны от лица.

Приятель пошел за ней (Шубин то безмолвно прижимал руки к сердцу, то поднимал их выше головы) и, несколько мгновений спустя, очутился перед одною из многочисленных дач, окружающих Кунцово. — Небольшой деревянный домик с мезонином, выкрашенный розовою краской, стоял посреди сада и как-то наивно выглядывал из-за зелени деревьев. Зоя первая отворила калитку, вбежала в сад и закричала: «привела скитальцев!» Молодая девушка с бледным и выразительным лицом поднялась с скамейки близ дорожки, а на пороге дома показалась дама в лиловом шелковом платье и, подняв вышитый батистовый платок над головою для защиты от солнца, улыбнулась томно и вяло.

III

Анна Васильевна Стахова, урожденная Шубина, семи лет осталась круглой сиротой и наследницей довольно значительного имения. У ней были родственники очень богатые и очень бедные; бедные по отцу, богатые по матери: сенатор Волгин, князя Чикурасовы. Князь Ардалион Чикурасов, назначенный к ней опекуном, поместил ее в лучший московский пансион, а по выходе ее из пансиона взял ее к себе в дом. Он жил открыто и давал зимой балы. Будущий муж Анны Васильевны, Николай Артемьевич Стахов, завоевал ее на одном из этих балов, где она была в «преlestном розовом платье с куафюрой из маленьких роз». Она берегла эту куафюру. Николай Артемьевич Стахов, сын отставного капитана, раненого в 12-м году и получившего доходное место в Петербурге, 16-ти лет поступил в юнкерскую школу и вышел в гвардию. Он был красив собою, хорошо сложен и считался едва ли не лучшим кавалером на вечеринках средней руки,

которые посещал преимущественно: в большой свет ему не было дороги. Смолоду его занимали две мечты: попасть в флигель-адъютанты и выгодно жениться; с первой мечтой он скоро расстался, но тем крепче держался за вторую. Вследствие этого он каждую зиму ездил в Москву. Николай Артемьевич порядочно говорил по-французски и слыл философом, потому что не кутил. Будучи только прапорщиком, он уже любил настойчиво поспорить, например, о том, можно ли человеку в течение всей своей жизни объездить весь земной шар, можно ли ему знать, что происходит на дне морском, — и всегда держался того мнения, что — нельзя.

Николаю Артемьевичу минуло двадцать пять лет, когда он «подцепил» Анну Васильевну; он вышел в отставку и поехал в деревню хозяйничать. Деревенское житье ему скоро надоело, именье же было оброчное; он поселился в Москве, в доме жены. В молодости он ни в какие игры не играл, а тут пристрастился к лото, а когда запретили лото, к ералашу. Дома он скучал; сошелся со вдовой немецкого происхождения и проводил у ней почти все время. На лето 53-го года он не переехал в Кунцово: он остался в Москве, будто бы для того, чтобы пользоваться минеральными водами; в сущности, ему не хотелось расстаться с своею вдовой. Впрочем, он и с ней разговаривал мало, а также больше спорил о том, можно ли предвидеть погоду и т. д. Раз кто-то назвал его *frondeur*¹; это название очень ему понравилось. «Да, — думал он, самодовольно опуская углы губ и покачиваясь, — меня удовлетворить не легко; меня не надуешь». Фрондерство Николая Артемьевича состояло в том, что он услышит, например, слово: нервы и скажет: «а что такое нервы?» или кто-нибудь упомянет при нем об успехах астрономии, а он скажет: «а вы верите в астрономию?» Когда же он хотел окончательно сразить противника, он говорил: «все это одни фразы». Должно сознаться, что многим лицам такого рода возражения казались (и до сих пор кажутся) неопровержимыми; но Николай Артемьевич никак не подозревал того, что Августина Христиановна в письмах к своей кузине, Феодилинде Петерзилиус, называла его: *Mein Pinselchen*².

Жена Николая Артемьевича, Анна Васильевна, была маленькая и худенькая женщина с тонкими чертами лица, склонная к волнению и грусти. В пансионе она занималась музыкой и читала романы, потом все это бросила — стала рядиться, и это оставила; занялась было воспитанием дочери, и тут ослабела и передала ее на руки к гувернантке; кон-

¹ [критикан;]

² [мой дурачок.]

чилося тем, что она только и делала, что грустила и тихо волновалась. Рождение Елены Николаевны расстроило ее здоровье, и она уже не могла более иметь детей; Николай Артемьевич намекал на это обстоятельство, оправдывая свое знакомство с Августиной Христиановной. Неверность мужа очень огорчала Анну Васильевну; особенно больно ей было то, что он однажды обманом подарил своей немке пару серых лошадей с ее, Анны Васильевны, собственного завода. В глаза она его никогда не упрекала, но украдкой жаловалась на него поочередно всем в доме, даже дочери. Анна Васильевна не любила выезжать, ей было приятно, когда у ней сидел гость и рассказывал что-нибудь; в одиночестве она тотчас занемогала. Сердце у ней было очень любящее и мягкое: жизнь ее скоро перемолола.

Павел Яковлевич Шубин доводился ей троюродным племянником. Отец его служил в Москве. Братья его поступили в кадетские корпуса; он был самый младший, любимец матери, нежного телосложения: он остался дома. Его назначали в университет и с трудом поддерживали в гимназии. С ранних лет начал он оказывать склонность к ваянию; тяжеловесный сенатор Волгин увидал однажды одну его статуэтку у его тетки (ему было тогда лет 16) и объявил, что намерен покровительствовать юному таланту. Внезапная смерть отца Шубина чуть было не изменила всей будущности молодого человека. Сенатор, покровитель талантов, подарил ему гипсовый бюст Гомера — и только; но Анна Васильевна помогла ему деньгами, и он, с грехом пополам, девятнадцати лет поступил в университет, на медицинский факультет. Павел не чувствовал никакого расположения к медицине, но, по существовавшему в то время штату студентов, ни в какой другой факультет поступить было невозможно; притом он надеялся поучиться анатомии. Но он не выучился анатомии; на второй курс он не перешел и, не дождавшись экзамена, вышел из университета с тем, чтобы посвятить исключительно своему призванию. Он трудился усердно, но урывками; скитался по окрестностям Москвы, лепил и рисовал портреты крестьянских девок, сходил с разными лицами, молодыми и старыми, высокого и низкого полета, итальянскими формовщиками и русскими художниками, слышать не хотел об академии и не признавал ни одного профессора. Талантом он обладал положительным: его начали знать по Москве. Мать его, парижанка родом, хорошей фамилии, добрая и умная женщина, выучила его по-французски, хлопотала и заботилась о нем денно и ночью, гордилась им и, умирая еще в молодых летах от чахотки, упросила Анну Васильевну взять его к себе на руки. Ему тогда уже пошел 21-й год. Анна Васильевна исполнила ее последнее желание. Он занимал небольшую комнатку во флигеле дачи.